Леонид Андреев

Цветок под ногою

Леонид Николаевич Андреев
Цветок под ногою

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=269112

Аннотация

«Имя его – Юра.

Ему было шесть лет от рождения, седьмой; и мир для него был огромным, живым и очаровательно-неизвестным.

Он недурно знал небо, его глубокую дневную синеву и белогрудые, не то серебряные, не то золотые облака, которые проплывают тихо: часто следил за ними, лежа на спине среди травы или на крыше. Но звезд полностью он не знал, так как рано ложился спать; и хорошо знал и помнил только одну звезду, зеленую, яркую и очень внимательную, что восходит на бледном небе перед самым сном и, по-видимому, на всем небе только одна такая большая…»

Содержание

I	4
II	13
III	21

Леонид Андреев
Цветок под ногою

I

Имя его – Юра.

Ему было шесть лет от рождения, седьмой; и мир для него был огромным, живым и очаровательно-неизвестным.

Он недурно знал небо, его глубокую дневную синеву и белогрудые, не то серебряные, не то золотые облака, которые проплывают тихо: часто следил за ними, лежа на спине среди травы или на крыше. Но звезд полностью он не знал, так как рано ложился спать; и хорошо знал и помнил только одну звезду, зеленую, яркую и очень внимательную, что восходит на бледном небе перед самым сном и, по-видимому, на всем небе только одна такая большая.

Но лучше всего знал он землю во дворе, на улице и в саду со всем ее неисчерпаемым богатством камней, травы, бархатистой горячей пыли и того изумительного, разнообразного, таинственного и восхитительного сора, которого совершенно не замечают люди с высоты своего огромного роста. И, засыпая, последним

ярким образом от прожитого дня он уносил с собою кусок горячего, залитого солнцем стертого камня, или толстый слой нежно-жгучей, щекочущей пыли. Когда же с матерью он бывал в центре города, на его больших улицах, то по возвращении лучше всего помнил широкие, плоские каменные плиты, на которых и шаги, и самые ноги его кажутся ужасно маленькими, как две лодочки; и даже множество вертящихся колес и лошадиных морд не так оставалось в памяти, как этот новый и необыкновенно интересный вид земли.

И все было для него огромно: заборы, деревья, собаки и люди, но это нисколько не удивляло и не пугало его, а только делало все особенно интересным, превращало жизнь в непрерывное чудо. По его тогдашней мерке предметы выходили такими:

Отец – десять аршин.

Мама – три аршина.

Соседская злая собака – тридцать аршин.

Наша собака – десять аршин, как и папа.

Наш дом одноэтажный, но очень-очень высокий – верста.

Расстояние от одной стороны улицы до другой – две версты.

Наш сад и деревья в нашем саду – неизмеримы, высоки бесконечно.

Город – миллион, но чего – неизвестно.

И все остальное в таком же роде. Людей он знал много, огромных и маленьких, но лучше знал и ценил маленьких, с которыми можно говорить обо всем; большие же держали себя так глупо и расспрашивали о таких нелепых, всем известных, скучных вещах, что приходилось тоже притворяться глупым, картавить и отвечать нелепости; и, конечно, хотелось как можно скорее уйти от них. Но были над ним, и вокруг него, и в нем самом два совершенно особенных человека, одновременно больших и маленьких, умных и глупых, своих и чужих; это были отец и мама.

Наверное, они были очень хорошими людьми, иначе не могли бы быть отцом и мамой; во всяком случае, они были людьми очаровательными и единственными в своем роде. С полной уверенностью можно было сказать одно: что отец очень велик, страшно умен, обладает безграничным могуществом и от этого немного страшен; интересно бывает с ним поговорить о необыкновенных вещах, для безопасности вложивши свою руку в его большую, сильную, горячую ладонь. Мама же не так велика, а иногда бывает совсем маленькою; очень добра она, целует нежно, прекрасно понимает, что это значит, когда болит животик, и только с нею можно отвести душу, когда устанешь от жизни, от игры или сделаешься жертвою какой-нибудь жестокой несправедливости. И если при отце непри-

ятно плакать, а капризничать даже опасно, то с нею слезы приобретают необыкновенно приятный вкус и наполняют душу такою светлою грустью, какой нет ни в игре, ни в смехе, ни даже в чтении самых страшных сказок. Нужно добавить, что мама необыкновенная красавица, и в нее все влюблены; это и хорошо, потому что чувствуешь гордость, но это и немножко плохо: ее могут отнять. И всякий раз, когда какой-нибудь мужчина, один из этих огромных, занятых собою и неизменно враждебных мужчин пристально и долго смотрит на маму, – становится скучно и беспокойно. Хочется стать между ним и мамой, и куда ни пойдешь по своим делам, отовсюду тянет назад. Иногда мама произносит нехорошую, пугающую фразу:

– Что ты все вертишься тут? Иди играть к себе.

И тогда ничего не поделаешь, надо уходить.

Пробовал он приносить с собою книжку или садился рисовать, но и это не всегда помогало: то мама похвалит его, что он читает, то опять скажет:

– Иди лучше к себе, Юрочка. Видишь, опять на скатерти воду разлил, всегда ты со своим рисованием что-нибудь наделаешь.

А потом упрекает за капризы. Но хуже всего, когда опасный и подозрительный гость только что пришел, а Юре надобно уже ложиться в постель, является чувство спокойствия и такое впечатление, будто

все уже кончилось: огни погашены, жизнь приостановилась, все засыпает, и подозрительный гость не то также уснул, не то ушел совсем.

Во всех этих случаях с подозрительными мужчинами Юра, хотя и смутно, но очень сильно, чувствует одно: что каким-то образом он заменяет собою отсутствующего отца. И это делает его немножко старым, как-то дурно, по-взрослому настроенным, но зато необыкновенно сообразительным, умным и важным. Конечно, он никому об этом не говорит, так как никто его не поймет, но в том, как он ласкается к явившемуся отцу и покровительственно садится к нему на колени, чувствуется человек, до конца выполнивший свой долг. Бывает, что отец не поймет его и просто-напросто прогонит играть или спать, – Юра обиды не чувствует и уходит с огромным удовольствием. В понимании он как-то не особенно нуждается и даже несколько боится его: иногда ни за что не скажет, почему он плакал, или притворится рассеянным, неслышащим, занятым своим делом, а сам все прекрасно слышит и понимает.

И уже есть у него одна страшная тайна: он заметил, что эти необыкновенные и очаровательные люди, отец и мама, бывают очень несчастны друг через друга и скрывают это ото всех. Поэтому и он сам скрывает свое открытие и делает передо всеми вид, что

все обстоит прекрасно. Много раз он заставал маму плачущей где-нибудь в уголке в гостиной или в спальне; детская его рядом со спальной, и однажды ночью, почти на рассвете, он слышал страшно гневный и громкий голос отца и плачущий голос матери. Он долго лежал, притаив дыхание, но потом стало так страшно от этого необыкновенного разговора среди ночи, что не выдержал и тихонько спросил няньку:

– Няня, что они говорят?

И няня быстро, испуганным шепотом ответила:

– Спи, спи. Ничего не говорят.

– Я к тебе пойду.

– Как не стыдно, такой большой, и с нянькой спать!

– Я к тебе пойду.

Так, сдерживая голос, страшно почему-то боясь, чтобы их не услышали, долго спорили они в темноте; и кончилось тем, что Юра перебрался-таки к няньке, на ее грубую, колючую, но уютную и теплую простыню.

Наутро папа и мама были очень веселы, и Юра притворился, что верит им, и даже, кажется, действительно поверил. Но в тот же вечер, а может быть, и не в тот, а совсем в другой, он увидел отца плачущим. Это было так: он проходил мимо отцова кабинета, и дверь была полураскрыта, и что-то там слышалось, и он тихонько заглянул – отец лежал необыкновенно, живо-

том вниз, на своем диване и громко плакал. И никого не было. Юра ушел, повертелся в детской и снова вернулся: так же была полуоткрыта дверь, так же никого не было, и все так же громко плакал отец. Если бы он плакал тихо, это еще можно было бы понять; но он всхлипывал громко, стонал грубым голосом, и зубы у него страшно скрипели. Лежал такой большой, во весь диван, прятал голову под широкие плечи, густо сопел и шмурыгал влажным от слез носом, – и этого нельзя было понять. А на столе, на его большом, полном карандашей, бумаги и других богатств столе, красным огнем горела лампа и коптела: плоской черно-серой ленточкой выбегала копоть и изгибалась в разные стороны.

Вдруг отец громко, но как-то по-другому вздохнул и пошевелился; и Юра потихоньку ушел. А потом все было как всегда, и так никто об этом и не узнал; но образ огромного, таинственного и очаровательного человека, который есть отец, а в то же время громко плачет, остался в памяти у Юры, как что-то жуткое и чрезвычайно серьезное. И если о другом просто не хотелось говорить, то об этом необходимо было молчать, как о святом и страшном, и в молчании еще больше любить отца. Но опять-таки любить его нужно было так, чтобы он и этого не замечал, а вообще же делать вид, что жить на свете очень весело.

И все это удалось Юре: отец так и не заметил, что он его любит особенно, а жить на свете было действительно весело, так что не было надобности в притворстве.

Из души тянулись нити ко всему, к солнцу, к ножу и оструганной им палке, к тем прекрасным и загадочным далям, что видимы с высоты железной крыши; и еще трудно было отделить себя от всего, что не он. Когда сильно и душисто пахла трава, то казалось, что это он сам пахнет так хорошо, а когда он ложился в постель, то, как это ни странно, в маленькую постель вместе с ним укладывались огромный двор, улица, косые нити дождя и пенистые лужи и весь огромный, живой, очаровательно-неизвестный мир. Так все вместе с ним и засыпало, так и просыпалось вместе и вместе с ним открывало глаза. И был один поразительный факт, достойный глубочайших размышлений: если с вечера он втыкал палку где-нибудь в саду, то наутро она оказывалась там же; и спрятанные в ящике, в сарае бабки оставались такими же, хотя с тех пор было темно и он уходил к себе в детскую. Отсюда являлась и естественная потребность все самое ценное прятать под подушку: раз оно само стояло и лежало, так могло само и уйти. И вообще было удивительно и очень приятно, что и нянька, и дом, и солнце существуют не только вчера, но и каждый день; и от этого,

проснувшись, хотелось смеяться и громко петь.

Когда его спрашивали об имени, он быстро отвечал:

– Юра.

Но некоторые не довольствовались этим и требовали, чтобы он продолжал, – и тогда с некоторым напряжением он отвечал:

– Юрий Михайлович.

И, подумавши еще, произносил полностью:

– Юрий Михайлович Пушкарев.

II

Наступил необыкновенный день: мама именинница, к вечеру съедутся гости, будет военная музыка, а в саду и на террасе будут гореть разноцветные фонарики, и спать нужно ложиться не в девять часов, а когда сам захочешь.

Проснулся Юра, когда еще все спали, сам наскоро оделся и быстро выскочил в ожидании чудес. Но был неприятно удивлен: комнаты стояли неубранными, как всегда по утрам, кухарка и горничная спали, и дверь была заперта на крючок – трудно было поверить, что люди зашевелятся, забегают, а комнаты примут праздничный вид, и страшно становилось за судьбу праздника. В саду еще хуже: дорожки не подметены, и не висит ни одного фонарика – стало совсем беспокойно. По счастью, на грязном дворе за сараем кучер Евмен мыл коляску; и хотя он делал это часто и вид имел самый обыкновенный, но теперь, в решительном плескании воды из ведра, в жилистых руках с засученными по локоть рукавами красной рубахи, явственно чувствовалось что-то праздничное.

Евмен только покосился на Юру, а Юра вдруг как бы впервые заметил его широкую черную, волнистую бороду и подумал с почтением, что Евмен очень до-

стойный человек. И сказал:

– Здравствуй, Евмен.

Ну, а потом пошло все очень быстро: вдруг появился дворник и начал мести дорожки, вдруг распахнулось окно в кухне и застрекотали чьи-то женские голоса, вдруг выскочила горничная с каким-то ковриком и начала бить палкой, как собаку. Все зашевелилось; и события, наступая одновременно и в разных концах, понеслись с такой бешеной стремительностью, что невозможно было за ними угнаться. Пока нянька поила Юру чаем, в саду уже начали протягивать проволоку для фонариков, а пока в саду протягивали проволоку, в гостиной переставили всю мебель, а пока в гостиной переставляли мебель, кучер Евмен уже запряг лошадь и выехал со двора с какой-то особенной, таинственной, праздничной целью.

С крайним трудом Юре удалось на некоторое время сосредоточиться: вместе с отцом они стали развешивать фонарики. И отец был очарователен: смеялся, шутил, подсаживал Юру на лестницу, сам лазил по ее жиденьким, потрескивающим перекладинам, и под конец оба они вместе с лестницей свалились в траву, но не ушиблись. Юра вскочил, а отец так и остался лежать на траве, закинув руки под голову и вглядываясь прищуренными глазами в сияющую, бездонную синеву. Лежа в траве, с таким серьезным, далеким от игры

видом, отец был страшно похож на Гулливера, тоскующего о своей стране больших, высоких людей. Что-то вспомнилось неприятное; с целью развеселить отца, Юра сел верхом на его сдвинутые колени и сказал:

– Помнишь, отец, когда я был маленький, я садился к тебе на колени, и ты подбрасывал меня, как лошадь?

Но не успел окончить, как уже лежал носом в самой траве, поднятый на воздух и опрокинутый чудесною силой, – это отец по-старому подбросил его коленями. Юра обиделся, а отец с полным пренебрежением к его гневу начал щекотать его под мышками, так что поневоле пришлось рассмеяться, а потом взял, как поросенка, за ноги и понес на террасу. И мама испугалась:

– Что ты делаешь, у него голова затечет.

После чего Юра оказался на ногах, красный, взъерошенный и не то очень несчастный, не то страшно счастливый.

День бежал так быстро, как кошка от собаки. Словно провозвестники грядущего великого торжества, стали появляться какие-то посланцы с записками, очаровательно вкусные торты, приехала портниха и спряталась с мамой в спальне, потом приехали два какие-то господина, потом еще господин, потом дама – очевидно, весь город находился в волнении. Юра

рассматривал посыльных – странных людей из того мира, и прохаживался перед ними с видом простым и важным как сын именинницы, встречал господ, провожал торты – и к полудню так изнемог, что вдруг возненавидел жизнь. Поругался с нянькой и лег на кровать лицом вниз, чтобы отомстить ей, но сразу заснул. Проснулся все с тем же недовольством жизнью и желанием мстить, но, вглядевшись промытыми холодною водою глазами, почувствовал, что и мир и жизнь очаровательны до смешного.

Когда же на Юру надели красную шелковую хрустящую рубашку, и уже явственно он приобщился к празднику, а на террасе его встретил длинный, снежно-белый, сверкающий стеклянною посудою стол, – Юра вновь закружился в водовороте набегающих событий.

– Пришли музыканты! Господи, музыканты пришли! – кричал он, разыскивая отца, или мать, или кого-нибудь, кто отнесся бы к этому приходу с надлежащею серьезностью.

Отец и мать сидели в саду, в беседке, густо завитой диким виноградом, и молчали; но красивая голова матери лежала на плече у отца, а отец, хотя обнимал ее, но был очень серьезен и приходу музыкантов не обрадовался. Да и оба они отнеслись к этому приходу с непостижимым равнодушием, вызывающим ску-

ку. Впрочем, мама пошевелилась и сказала:

– Пусти. Мне надо идти.

– Так ты помни, – произнес отец что-то непонятное, но отдавшееся в сердце Юры легкой сосущею тревогой.

– Оставь. Как не стыдно, – засмеялась мать, и от этого смеха Юре стало еще неприятнее, тем более что отец не засмеялся, а продолжал хранить все тот же серьезный и печальный вид Гулливера, тоскующего о родной стране.

Но скоро все это позабылось, ибо во всей широте своей загадочности и великолепия наступил удивительный праздник. Повалили гости, и уже не оставалось места за белым столом, который только сейчас был пуст; зазвучали голоса, смех, какие-то веселые шутки, и музыка заиграла. И на пустынных дорожках сада, где раньше бродил один только Юра, воображая себя принцем, разыскивающим спящую царевну, появились люди с папиросами и громкой свободной речью. Первых гостей Юра встречал у парадного, каждого рассматривал внимательно, а с некоторыми успевал познакомиться и даже подружиться – по дороге от прихожей до стола. Так успел он подружиться с офицером, которого звали Митенькой, – большой человек, а звали Митенькой, сам сказал. У Митеньки была толстая кожаная, холодная, как змея, сабля, ко-

торая будто бы не вынималась, но это Митенька солгал: она была только перевязана возле ручки серебряным шнурком, а вынималась прекрасно; и так было обидно, что глупый Митенька, вместо того чтобы всегда носить саблю с собой, поставил ее в передней, в угол, как палку. Но и в углу сабля стояла совсем особенно, сразу было видно, что она – сабля. И еще неприятно было то, что с Митенькой пришел другой, уже знакомый офицер, которого, очевидно, для шутки, также называли Юрием Михайловичем. Этот не настоящий Юрий Михайлович приезжал уже к ним несколько раз, однажды даже верхом на лошади, но всегда перед тем самым часом, когда Юрочке нужно было ложиться спать. И Юрочка ложился, а ненастоящий Юрий Михайлович оставался с мамой, и это было тревожно и печально: мама могла обмануться. На настоящего Юрия Михайловича он не обращал никакого внимания; и теперь, идя рядом с Митенькой, он точно совсем не чувствовал своей вины, поправлял усы и молчал. Маме он поцеловал руку, и это было противно, но глупый Митенька сделал то же самое и этим привел все в порядок.

Но скоро гости стали появляться в таком количестве и такие разнообразные, как будто они падали прямо с неба. И некоторые падали за стол, а другие прямо в сад: вдруг на дорожке появилось несколько

студентов с барышнями. Барышни были обыкновенные, а у студентов на белых кителях у левого бока были прорезаны дырочки – как оказалось, для шпаг, то есть для сабель. Но сабель они не принесли, должно быть, от гордости, – они все были очень гордые; а барышни накинулись на Юру и стали с ним целоваться. Потом самая красивая барышня, которую звали Ниночкой, взяла Юру на качели и долго качала, пока не уронила. Он очень больно ушиб левую ногу около колена и даже зазеленил на этом месте белые штанишки, но, конечно, плакать не стал, да и боль очень скоро девалась куда-то. В это время отец водил по саду какого-то важного, совсем лысого старика и спросил Юрочку:

– Ушибся?

Но так как старик тоже улыбнулся и тоже что-то говорил, то Юрочка не поцеловал отца и даже не ответил ему, а вдруг сразу сошел с ума: стал визжать от восторга и вообще что-то выделывать. Если бы у него имелся большой, в целый город, колокол, то он ударил бы в колокол, а за неимением его влез на высокую липу, которая стояла у самой террасы, и начал красоваться. Гости внизу смеялись, а мама кричала, а потом вдруг заиграла музыка, и Юра уже стоял перед самым оркестром, расставив ноги и по старой, давно брошенной привычке заложив палец в рот. Звуки все

сразу били в него, рычали, гремели, ползали, как мурашки по ногам, и трясли за челюсть. Было так громко, что на всей земле остался один только оркестр – все остальное пропало. У некоторых труб от громкого рева даже расползлись и развернулись медные концы: интересно было бы сделать военную каску из трубы.

И вдруг Юре сделалось грустно. Музыка еще гремела, но уже где-то вдали и совсем снаружи, а внутри стало тихо – и делалось все тише, тише. Глубоко вздохнув, Юра поглядел на небо – оно совсем высоко – и тихими шагами направился в обход праздника, всех его смутных границ, возможностей и далей. И всюду он, оказывается, запоздал: он хотел видеть, как начнут расставлять столы для карточной игры, а столы были готовы, и за ними уже играли с очень давним видом. Потрогал около отца мелок и щетку, и отец немедленно прогнал его. Что ж, не все ли равно. Хотел видеть, как начнут танцевать, и был убежден, что это произойдет в зале, а они уж начинали танцевать, и не в зале, а под липами. Хотел видеть, как начнут зажигать фонарики, а фонарики уже все горели, все до единого, до самого последнего из последних. Загорелись сами, как звезды.

Лучше всех танцевала мама.

III

Ночь явилась в виде красных, зеленых и желтых фонариков. Пока их не было, не было и ночи, а теперь всюду легла она, заползла в кусты, прохладною темнотою, как водой, залила весь сад, и дом, и самое небо. Стало так прекрасно, как в самой лучшей сказке с раскрашенными картинками. В одном месте дом совсем пропал, осталось только четырехугольное окно, сделанное из красного света. А труба на доме видна, и на ней блестит какая-то искорка, смотрит вниз и думает о своих делах. Какие дела бывают у трубы? Разные.

От людей в саду остались одни голоса. Пока человек идет около фонариков, его видно, а как начинает отходить, так все тает, тает, тает, а голос сверху смеется, разговаривает, бесстрашно плавает в темноте. Но офицеров и студентов видно даже в темноте: белое пятно, а над ним маленький огонек папиросы и большой голос.

И тут началось для Юры самое радостное, – началась сказка. Люди, и праздник, и фонарики остались на земле, а он улетел, сделался воздухом, притворился и растаял в ночи, как пылинка. Великая тайна ночи стала его тайной; и захотело маленькое сердце еще

более тайного, в одиночестве тела возжаждало оно нечеловеческих слияний жизни и смерти. Это было второе за тот вечер сумасшествие Юры: он сделался невидимкой. Хотя мог войти в кухню, как и все – вместо того с трудом взлез на крышу подвала, над которой светилось кухонное окно, и стал подглядывать: там что-то жарили, и суетились, и не знали, что он на них смотрит, – а он все видит. Потом пошел и подглядел папину и мамину спальню: в спальне было пусто, но постели были уже открыты, и горела лампадка – это он подглядел. Потом подглядел в детской свою собственную кровать: также была открыта и ждала. Через комнату, где играли в карты, он прошел, как невидимка, затаив дыхание и ступая так легко, точно летел по воздуху. Уже только в саду, в темноте, как следует отдышался. Затем начал выслеживать. Подбирался к разговаривающим так близко, что мог коснуться их рукой, а они даже не знали, что он тут, и разговаривали себе спокойно. Долго следил за Ниночкой, пока не изучил всю ее жизнь, – чуть-чуть не попался. Ниночка даже крикнула:

– Юрочка, это ты?

Но он лег за куст и притаился – так Ниночка и обманулась. А уж совсем было поймала. Чтобы было еще таинственнее, он стал не ходить, а ползать: теперь дорожки казались опасными. Так прошло много

времени – по его тогдашнему исчислению, десять лет, а он все прятался, и все дальше уходил от людей. И так далеко ушел, что начинало становиться страшно: между ним и тем прошлым, когда он разгуливал, как и все, раскрывалась такая пропасть, через которую, пожалуй, уж нельзя было перешагнуть. Теперь он и пошел бы на свет, но было страшно, было невозможно, было потеряно навсегда. А музыка все играет, и о нем все позабыли, даже мама. Один. От росистой травы веет холодом, крыжовник царапается, темноту не разорвешь глазами, и нет ей конца. Господи!

Уже без всякого плана, совсем отчаявшись в спасении, Юра пополз куда-то напрямик – к загадочному, слабо мерцавшему свету. По счастью, оказалось – та самая беседка, завитая виноградом, где сидели сегодня отец и мама. А он и не узнал. Да, та самая беседка. Фонарики кругом уже погасли, и светились только два: один, зелененький, горел еще совсем ярко, а другой, желтенький, уже мигал. И хотя ветра не было, но от своего миганья он покачивался, и все кругом также слегка покачивалось. Юра хотел встать, чтобы войти в беседку и оттуда начать новую жизнь, с незаметным переходом от старой, как вдруг услышал в беседке голоса. Говорили мама и ненастоящий Юрий Михайлович, офицер. Настоящий же Юрий Михайлович замер на месте, и сердце у него замерло, и дыханье у него

остановилось.

Мама сказала:

– Оставь. Ты с ума сошел. Сюда могут войти.

Юрий Михайлович сказал:

– А ты?

Мама сказала:

– Сегодня мне двадцать шесть лет. Я старая.

Юрий Михайлович сказал:

– Он ничего не знает. Неужели он ничего не знает? Он даже не догадывается. Послушай, он всем так крепко жмет руку?

Мама сказала:

– Что за вопрос? Конечно, всем. Нет, не всем.

Юрий Михайлович сказал:

– Мне его жаль.

Мама сказала:

– Его?

И странно засмеялась. Юрочка понял, что это говорили про него, про Юрочку, – но что же это такое, господи! И зачем она смеется?

Юрий Михайлович сказал:

– Куда ты? Я тебя не пущу.

Мама сказала:

– Ты меня оскорбляешь. Пусти. Нет, ты не смеешь меня целовать. Пусти.

Замолчали. Тут Юрочка посмотрел сквозь листья

и увидел, что офицер обнял и целует маму. Дальше они еще что-то говорили, но он ничего не понял, не слыхал, внезапно позабыл, что какое слово значит. И свои слова, какие раньше научился и умел говорить, также позабыл. Помнил одно слово: мама, и безостановочно шептал его сухими губами, но оно звучало так страшно, страшнее всего. И, чтобы не крикнуть его нечаянно, Юра зажал себе рот обеими руками, одна на другую; и так оставался до тех пор, пока офицер и мама не вышли из беседки.

Когда Юра вошел в комнату, где играли в карты, важный лысый старик за что-то бранил отца, размахивал мелком и говорил и кричал, что отец поступил не так, что так нельзя делать, что так делают только нехорошие люди, что это нехорошо, что старик с ним больше играть не будет, и другое все такое же. А отец улыбался, разводил рукою, хотел что-то говорить, но старик не дал, – закричал еще громче. И старик был маленький, а отец высокий, красивый, большой, и улыбка у него была печальная, как у Гулливера, тоскующего по своей стране высоких, красивых людей. Конечно, от него нужно скрыть то, что было в беседке, и его нужно любить, и я его так люблю, – с диким визгом Юра бросился на лысого старика и начал изо всей силы гвоздить его кулаками:

– Не смей обижать, не смей обижать…

Господи, что тут было! Кто-то смеялся, кто-то тоже кричал. Отец схватил Юру на руки, до боли сжал его и тоже кричал:

– Где мать? Позовите мать!

Потом Юру унес с собою вихрь неистовых слез, отчаянных рыданий, смертельная истома. Но и в безумии слез он поглядывал на отца: не догадывается ли он, а когда вошла мать, стал кричать еще громче, чтоб отвлечь подозрения. Но на руки к ней не пошел, а только крепче прижался к отцу: так и пришлось отцу нести его в детскую. Но, видимо, ему и самому не хотелось расставаться с Юрой – как только вынес его из той комнаты, где были гости, то стал крепко его целовать и все повторял:

– Ах ты мой милый! Ах ты мой милый!

И сказал маме, которая шла сзади:

– Нет, ты посмотри, какой!

Мама сказала:

– Это все ваш винт. Вы так ругаетесь, что напугали ребенка.

Отец рассмеялся и ответил:

– Да, ругается он сильно. Но этот-то! Ах ты мой милый!

В детской Юра потребовал, чтобы отец сам раздел его.

– Ну, начались капризы, – сказал отец. – Я ведь не

умею, пусть мама разденет.

– А ты будь тут, – сказал Юра.

У мамы ловкие пальцы, и раздела она быстро, а пока раздевала, Юра держал отца за руку. Няньку выгнал. Но так как отец уже начинал сердиться и мог догадаться о том, что было в беседке, то Юра скрепя сердце решил отпустить его. Но, целуя, схитрил:

– А тебя он больше ругать не будет?

Папа обманулся. Засмеялся, еще раз уже сам крепко поцеловал Юру и сказал:

– Нет, нет. А если будет браниться, я его брошу через забор.

– Пожалуйста, – сказал Юра. – Ты это можешь. Ты ведь сильный.

– Да ничего себе. А ты спи-ка покрепче. Мама побудет с тобою.

Мама сказала:

– Я пошлю няню. Мне нужно готовить к ужину.

Отец крикнул:

– Успеется ваш ужин! Можешь побыть с ребенком.

Но мама настаивала:

– Там гости. Неудобно, если я их брошу.

Но отец пристально посмотрел на нее, и, пожав плечами, мама согласилась:

– Ну хорошо, я останусь. Посмотри только, чтобы Марья Ивановна вин не перепутала.

Всегда бывало так: если около засыпающего Юры сидела мама, то она держала его за руку до самой последней минуты, – всегда бывало так. А теперь она сидела так, как будто была совсем одна и не было тут никакого сына Юры, который засыпает, – сложила руки на коленях и смотрела куда-то. Чтобы привлечь ее внимание, Юра пошевелился, но мама коротко сказала:

– Спи.

И продолжала смотреть. Но, когда у Юры отяжелели глаза и со всею своею тоской и слезами он начал проваливаться в сон, вдруг мама стала перед кроваткой на колени и начала часто-часто, крепко-крепко целовать Юру. Но поцелуи были мокрые, горячие и мокрые.

– Отчего у тебя мокрые, ты плачешь? – пробормотал Юра.

– Я плачу.

– Не надо плакать.

– Хорошо, я не буду, – покорно согласилась мама.

И снова целовала часто-часто, крепко-крепко.

Тяжело-сонным движением Юра поднял обе руки, обнял мать за шею и крепко прижался горячей щекою к мокрой и холодной щеке – ведь все-таки мама, ничего не поделаешь. Но как больно, как горько!

1911 г.